

ВЛАДИМИР СОРОКИН



18+

Владимир Георгиевич Сорокин

Заплыв

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=124884

Сорокин, В. Заплыв: ранние рассказы и повести: Астрель, АСТ; Москва;

2008

ISBN 978-5-17-162360-9

Аннотация

В рассказах сборника “Заплыв”, написанных в конце 1970-х – начале 1980-х годов,

видно становление сорокинской оптики. Застывший советский быт, усталые, привыкшие к двоемыслию люди, затертые понятия оживают от малейшей авторской провокации. “Народное хозяйство”, “летучка”, “заплыв” оказываются хрупкой оболочкой страдания, бурлеска и абсурда.

Тексты сборника очень разные – в одних непривычна рефлексия от первого лица (“Ватник”), в других – лаконичность жанра (“Стихи и песни”, вошедшие в роман “Норма”); третьи же – опыты исследования человеческой природы на просторах тоталитарного государства в духе зрелого Сорокина (“Розовый клубень”, “Дача”, “Падёж”).

Книга была впервые издана в 2008 году, когда отсылки к советскому метаязыку могли читаться даже с ностальгическим

чувством. Сегодня тема разрыва между словом и смыслом снова поразительно актуальна.

Содержание

Розовый клубень	6
Заплыв	13
Дыра	22
Полярная звезда	39
Ватник	53
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Владимир Сорокин

Заплыв

© Владимир Сорокин, 2008, 2024

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет,
2024

© ООО “Издательство АСТ”, 2024

Издательство CORPUS®

Розовый клубень

В четверг Анна узнала, что беременна, и, придя вечером с работы, не стала готовить ужин, а села за крохотный кухонный столик, положила свои худые руки на новую клеёнку и оцепенело уставилась на них.

Николай вернулся как обычно – в девять.

Анна слушала, как он раздевается в узком, плотно заставленном коридоре. Потом подошла к нему, обхватив руками его жирную от въевшейся солярки шею, прижалась, замерла:

– Коля, я не могу больше. Мы должны сделать это.

Николай вздохнул и осторожно коснулся губами её светлых жиденьких волос:

– Всё будет хорошо. Не бойся.

Её руки, словно две бледные змейки, поползли по угловатым плечам мужа:

– Что ты успокаиваешь меня? Ты читал вчерашнюю «Истину»?

– Да, конечно.

– Чего же ты ждешь? Пока за нами придут? Или объявят нас «плюющими против ветра»?

– Да нет, просто думаю.

Анна отвернулась:

– Думаешь... А Он – по-прежнему на подоконнике. И все видят Его.

– Не волнуйся. Сегодня мы это сделаем. Обязательно.

Сумерки слепили город в неровную, пестрящую огнями плоскость, подпирающую полосу вечернего неба. Сжатое городом и облупившейся рамой окна, небо быстро темнело, наливаясь сырою мглой. Чем темнее оно становилось, тем резче и отчетливей влипал Его профиль в хмурую плоскость города.

Николай давно заметил это свойство Его шишковатой, бледно-розовой плоти – светлеть на фоне сгущающейся тьмы.

Двенадцать лет назад, когда из чёрной почвы, сжатой серебряным, похожим на огромную рюмку горшком, пробился крохотный розоватый клубень, Николай удивился тому, как быстро он посветлел с наступлением сумерек.

В тот вечер семья праздновала День Первых Выходов, гости не помещались за столом, и пришлось придвинуть комод. Николай помнил, как, погасив свет, слушали Гимн, как покойный отец говорил Главный Тост, как пили вино и по очереди вытряхивали капли из рюмок на черную, жирно удобренную землю.

– Расти на радость нам, на смерть врагам! – Отец опрокинул свою рюмку третьим, вслед за двумя толстыми представителями УСА (Управления Селекционной Агитации) и, быстро наклонившись, поцеловал клубень...

Через три года Он вырос на тридцать сан– тиметров, и в

узловатом, словно вытяну— тая картофелина, теле Николай впервые различил осанку Вождя. Утром он сказал об этом матери. Она засмеялась, повалила Николая на кровать:

— Глупенький! Мы это и раньше заметили.

И таинственно добавила:

— Скоро и не то увидишь!

И действительно, не прошло и года, как верхняя часть бесформенного на первый взгляд клубня округлилась, низ расширился, а с боков вылезли два покатых выступа.

Тогда отец снова собрал гостей, надрезал себе правую руку, помазал кровью макушку клубня и провозгласил День Формирования.

Через два года клубень вырос ещё на десять сантиметров, розовая голова ещё больше округлилась, обозначилась толстая шея, плечи раздались вширь, а на шишковатой талии вспух живот.

— Это чудо селекции, сынок! — восхищённо говорил отец, теребя рано поседевшую бородку. — Такое мог придумать только наш народ-чудотворец! Ты только представь — живой Отец Великой Страны! На подоконнике каждой семьи, в каждом доме, в каждом уголке нашего бескрайнего государства!

Вскоре из круглой головы вылез мясистый нос, затем двумя припухлостями обозначились брови, подбородок выдвинулся вперёд, с боков показались уши. Тело Его, по пояс ушедшее в чернозем, расширилось и окрепло. Случайные

рытвины и бородавки постепенно исчезли, шишковатости сгладились.

Ещё через год на розовом лице появились губы, брови величественно нахмурились, сдавили переносицу, лоб округлился, над ним вспух уступ короткого чуба. Шею стянул тугой воротничок кителя, живот прочнее укоренился в земле.

Николай уже оканчивал школу, когда на щеках Вождя проступили ямочки, обозначились ушные раковины, а на плотно сидящем кителе обозначились легкие складки.

Через два года умер отец.

А ещё через год праздновали День Прозрения – подушки пухлых век раздвинули два тёмных шарика. Вести праздник пришлось Николаю. Он напудрил свое лицо и спел Песню собравшимся гостям. Мать вылила в горшок с Вождём стакан заранее накопленной семейной слюны. С этого дня Его кормили только слюной. Каждый двенадцатый день Николай отдавал Ему свою сперму.

Когда на кителе проступили кирпичики орденских планок, а из правого кармана вылез кончик ручки – настал День Завершения Роста. Его праздновали уже без матери.

Вскоре Николай женился на Анне и пошёл работать на завод.

Анна с первых дней стала заботливо ухаживать за Ним – каждое утро стирала пыль, поливала слюной, рыхлила чернотой и до блеска начищала серебряный горшок.

Так длилось почти два года.

Но двенадцатым июньским утром разнеслась по Стране страшная весть – Великий Вождь скончался.

Две недели никто не работал – все оцепенело сидели по домам. Через две недели, похоронив усопшего, новый Вождь торжественно принял Руль. В отличие от прежнего новый был высоким и худым. Он произносил речи, писал обращения и воззвания к народу. Но в них ни слова не упоминалось о прежнем Вожде, продержавшем Руль 47 лет. Это пугало людей. Некоторые сходили с ума, некоторые, обняв горшки с клубнями, выбрасывались из окон.

Через месяц новый Вождь выступил с обращением к народу, где упомянул «бывшего у Руля, но выбывшего по причине необходимых, но достаточных причин».

Как ни пытались Николай с Анной понять скрытый смысл этого высказывания – он ускользал от них. Народ понял это двояко и немедленно поплатился: убравшие клубни с подоконников были тут же арестованы, а оставившие – предупреждены. Николая с Анной почему-то забыли – им не пришла красная карточка предупреждения с изображением человека, плюющего против ветра. Но это угнетало супругов, а не радовало.

Так в неведении и напряжении миновало полтора месяца. Соседей продолжали арестовывать и предупреждать. Вскоре вышел указ о запрещении самоубийств. Самоубийства прекратились...

Николай не заметил, как сзади подошла Анна. Руки ее коснулись его плеч:

– Ты боишься, Коля?

Николай обернулся:

– Чего нам бояться? Мы имеем право. Мы же честные люди.

– Мы честные люди, Коля. Будем начинать?

Николай кивнул. Анна погасила свет.

Николай взял нож, нащупал талию клубня и, сдерживая дрожь жилистых рук, полоснул по ней. Тело Его оказалось тверже картофеля. Клубень слабо потрескивал под ножом. Когда Николай срезал Его, Анна подхватила, бережно перенесла в темноте, словно ребёнка, на стол. Николай достал восьмилитровую стеклянную банку с широкой горловиной. Анна зажгла плиту, набрала ведро воды, поставила греться.

В темноте они сидели, озаряемые слабым газовым пламенем, уставившись на лежащего. И Николаю и Анне казалось, что Он шевелится. Когда вода закипела, Анна остудила её на балконе, отлила в банку, добавила соли, уксуса, лаврового листа и гвоздики. Потом осторожно опустила Его в банку. Потеснив исходящую паром воду, Он закачался, словно желая вылезти из банки. Но Николай металлической крышкой прижал его макушку, схватил машинку, стал быстро и сноровисто закатывать банку.

Когда все было закончено, супруги подняли банку и осторожно водрузили на подоконник – на то же самое место.

Анна осторожно обтёрла тёплую банку полотенцем. Николай, чуть помедлив, включил свет. Банка стояла, поблескивая стеклянными боками. А Он еле заметно покачивался в воде, окруженный редкими лавровыми листьями.

— Красиво... — произнесла Анна после долгой паузы.

— Да... — вздохнул Николай.

Он обнял жену и осторожно положил ей руку на живот. Анна улыбнулась и накрыла его руку своими бледными руками.

На следующее утро, встав, как обычно, на полчаса раньше мужа, Анна прошла на кухню, включила плиту и поставила греться чайник. После этого полагалось полить Его собранной за день слюной. Сонно почесываясь, Анна автоматически взяла слюнный стакан, стоящий на этажерке, и замерла: стакан был пуст. Анна перевела взгляд на подоконник, увидела банку с клубнем и облегчённо вздохнула, вспомнив вчерашнюю операцию. Подошла, положила руки на банку. Глянула в окно. Город просыпался, зажигались окна. Но в городе что-то изменилось. И изменилось серьёзно. Анна протерла глаза, присматриваясь: на подоконниках стояли не привычные с детства серебряные и золотые горшки, а... стеклянные банки с розовыми клубнями.

1979 г.

Заплыв

– Цитата номер двадцать шесть, слушай мою команду! – Низкорослый маршал войск речной агитации сипло втянул в себя ночной воздух и прокричал: – Зажечь факела!

Длинная колонна, выстроенная на набережной Города из мускулистых голых людей, качнулась, ожила еле заметным движением: тысяча рук метнулась к тысяче бритых висков, выхватила из-за ушей тысячу спичек и чиркнула ими по тысяче голых бёдер.

Крохотные огоньки одновременно подскочили кверху, и через мгновение маршал судорожно сощурил привыкшие к темноте глаза: факелы вспыхнули, языки пламени метнулись к тёмно-фиолетовому небу.

Маршал придиричиво ощупал глазами ряды голых тел и снова открыл рот:

– Не меняя построения, соблюдая дистанцию, в воду вой-ти!

Построенная особым порядком колонна тронулась и, неслышно ступая босыми ногами, стала быстро сползать по гранитным ступеням набережной к чёрной неподвижной воде Реки. Вода расступилась и впустила в себя весь полк. Солдаты осторожно погружались в студёную сентябрьскую воду, отталкивались от каменистого дна и плыли в том же порядке, держа над бритыми головами ярко горящие факелы. Че-

рез минуту колонна выплыла на середину Реки, где быстрое течение подхватило её и понесло.

Самым тяжёлым условием в агитационных заплывах для Ивана был запрет перемены рук.

Плыть в ледяной воде он мог долго, но пять бесконечных часов держать в предельно вытянутой руке шестикилограммовый факел было по-настоящему тяжело. И как он ни готовился к заплыву, какими тренажёрами ни изнурял свою правую руку – всё равно к рассвету её сводило мелкой дрожью, и не было силы, способной обуздать эту проклятую дрожь. Инъекции, втирания, электромагнитная терапия не помогали.

Тем не менее Иван считался лучшим пловцом в своём полку, и ему вот уже шесть лет доверяли самые ответственные места в цитатах.

И сегодня он плыл запятой – единственной запятой в длинной, первой степени сложности цитате из Книги Равенства: **ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ СОВРЕМЕННОГО ЦЕЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БОРО ЯВЛЯЛСЯ, ЯВЛЯЕТСЯ И БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ВОПРОС СВОЕВРЕМЕННОГО УСИЛЕНИЯ КОНТРАСТА**

Точка в конце цитаты не ставилась, поэтому единственным знаком препинания была запятая, рождаемая пламенем шестикилограммового конусообразного факела Ивана.

Синхронное плавание давалось Ивану легко – он, с детства выросший на море, давно признал в воде вторую сти-

хию, а после четырех лет ВВАП (военно-водно-агитационной подготовки) вообще не представлял свою жизнь без этих долгих, пропахших рекой ночей, без чёрной, дробящей всполохи пламени воды, без свинцовой боли, постепенно охватывающей руку с факелом, без предрассветного завтрака в чистой полковой столовой.

Служба, словно Река, быстро и плавно несла Ивана: сначала его как новичка ставили в середины больших прочных букв Ж, Ш и Щ, потом, убедившись в точности его плавания, стали постепенно смещать к краям. Так после двух лет он уже плавал левой ножкой Д или вместе с рябым татаринцом Эльдаром составлял хвостик у Щ.

Ещё через год Ивану поручили плавание в тире и восклицательных знаках, а после нанесения почетной татуировки «пловец-агитатор высшей категории» – доверили запятые.

За семь лет службы Иван имел звание младшего сержанта, медаль «Государственный пловец», множество устных похвал перед строем и почётную грамоту «За образцовую службу при водном транспортировании VI-й главы книги Аделаиды Свет “Новые люди”» (главу транспортировали в течение четырёх месяцев, и каждую ночь Иван плавал запятой).

Он набрал в лёгкие побольше воздуха и медленно выпустил его в пахнущую илом воду. Факел наклонился, но пальцы привычно выпрямили его, крепче сжав металлический корпус.

Тело уже успело согреться, дрожь оставила подбородок, ноги послушными рывками стригли воду. Впереди белели десять бритых голов вертикальной ножки Я, а за ними дрожала, зыбилась огненная масса факелов колонны.

Иван точно знал своё место – шесть метров от левой крайней головы – и плыл со спокойной размеренностью, сдерживая дыхание. Нельзя отклоняться ни влево, ни вправо, нельзя торопиться, но и нельзя отставать, иначе запятая приклеится к другому Я.

Факел горел ярко, пламя часто срывалось вбок, тянулось к тяжело шевелящейся воде, плясало над её поверхностью и снова выравнивалось.

Во время заплывов Иван любил смотреть на звёзды. Сейчас они висели особенно низко, сверкая холодно и колюче.

Он перевернулся на спину, почувствовал, как вода обожгла бритый затылок, и улыбнулся. Звезды неподвижно стояли на месте.

Он знал, что опасно долго смотреть на них – можно не заметить, как сзади наплывёт косая ножка Я, а бритые головы с ужасом наткнутся на отставшую запятую. Иван оглянулся. За ним в «косухе» и «полумесяце» плыли его товарищи: Муртазов, Холмогоров, Петров, Доронин, Шейнблат, Попович, Ким, Борисов и Герасименко. Лица их были спокойны и сосредоточены. Иван понимал, что своей запятой делит это длинное, но очень нужное людям предложение пополам и что без его факела оно потеряет свой великий смысл. Гор-

дость и ответственность всегда помогали ему бороться с холодом. Сейчас он также легко победил его, и осенняя вода казалась теплой.

Он снова посмотрел на звёзды. Больше всего он любил созвездие, напоминающее ковш, которым полковой повар льет в солдатские миски вкусный суп из турнепса и плюхает наваристую перловую кашу с маргарином. И хотя он с детства знал, что созвездие носит имя Седьмого Пути, а эта колючая звезда на конце – Великого Преобразователя Человеческой Природы Андреаса Капидича, в памяти Ивана оживали не золотыеobelisks Храма Преодоления, не витые рога Капидича, а вместительный, сияющий ковш.

Он перевернулся и поплыл на правом боку. Уже сейчас в правой руке почувствовалась легкая усталость. И не мудрено – в жестяной корпус факела залито шесть литров горючей смеси. Далеко не каждый человек способен проплыть пять часов в холодной воде, держа факел над головой. Иван понимал это с самого начала службы в ВВА. За семь лет его правая рука стала почти вдвое толще левой, как и у всех солдат полка. По мере того как раздувались ее мышцы, наливались связки и лиловела кожа, в Иване росла гордая уверенность в себе и крепло чувство превосходства над гражданскими, у которых нет таких правых рук. С ранней весны и до поздней осени он носил рубашки с короткими рукавами, выставляя напоказ свою мощную руку. Это было очень приятно.

Вскоре монолиты гранитных набережных сузились, над

цитатой проплыл Первый Мост и послышался слабый шёпот невидимых зрителей. После моста набережные взметнулись вверх и стали постепенно наползать на полосу реки.

Иван сильнее сжал факел и выше поднял его. Он тысячу восемнадцать раз проплывал это место, эту грозную и торжественную горловину, но каждый раз не мог сдержать восторженной дрожи: за мостом начинался Город, и Река уже становилась Каналом имени Обновленной Плоти, пересекающим Город, Каналом, на набережных которого сегодня, как и тысячи тысяч раз, собрались достойнейшие представители Города.

Через час нарастающий шёпот усилился и повис над Каналом непрерывным пчелиным гулом. Гранитные набережные сдавили Реку настолько, что, лежа на спине, Иван мог видеть головы смотрящих вниз жителей Города. Здесь, внизу, совсем не было ветра, вода лежала чёрным зеркалом, и пламя факелов спокойно разрезало сырой воздух.

Правая рука дала о себе знать: в плече осторожно зашевелилась боль и вялой спиралью потянулась к побелевшим от напряжения пальцам. Постепенно она доберётся до них, и жестяной корпус покажется им картонным, ледяным, жирным, обжигающим, плюшевым, резиновым, а потом пальцы намертво сожмут пустоту, и Иван потеряет свою правую руку до самого конца заплыва. И привычным, до мелочей знакомым окажется этот конец: в тусклом предрассветном воздухе два заспанных инструктора склонятся над Иваном, раз-

жимая его белые, сведенные судорогой пальцы, не желающие расставаться с погасшим факелом. А Иван будет помогать левой рукой...

Он перевернулся и несколько раз выдохнул в воду.

Шум наверху усиливался, кое-где вспыхивала овая, и двадцатиметровые гранитные берега дробили ее многократным эхом.

«То ли будет, когда начнутся Основные районы!» – вос- торженно подумал Иван, вспоминая гром нескончаемой ова- ции, заставляющий замирать сердце. Да, рабочие так хлопать не умеют...

Он покосился на руку. Боль уже овладела предплечьем, и остановить её было невозможно. Правда, оставалось ещё по- следнее средство, иллюзия борьбы, наивный паллиатив, по- могающий на мгновение: если резко сжать пальцы и напрячь мы- шцы всей руки – боль испарится. На секунду.

Иван скрипнул зубами и изо всех сил сжал конус факела. Раздался треск, словно раздавили яйцо, и что-то масляни- стое потекло по руке.

Иван глянул и помертвел: еле заметная полоска шва разо- шлась, из корпуса факела текла горячая смесь. Он выхва- тил левую руку из воды, прижал ладонь к прорехе, факел на- клонился, и оранжевая вспышка мягко толкнула Ивана в ли- цо. Он шарахнулся назад, провалился в воду, вынырнул и всплыл в клубящемся огне. От его тела рвались жадные жел- тые языки, а вокруг расплывалось горящее пятно. Стреми-

тельный жар выдавил из Ивана протяжный крик. Он нырнул, вынырнул в середине Я, вспыхнул снова, закричал и замолотил руками по товарищам и по воде до тех пор, пока заплесневелый гранит не расколол его пылающую голову.

Когда стиснутая двумя крутолобыми Я запятая ярко вспыхнула, зрители на набережных поняли, что это и есть тот самый Третий Намек, о котором говорил крылатый Горг-эз на последнем съезде Обновленных. Мощная овация надолго повисла над Каналом.

Запятая тем временем исчезла, всплыла и развалила Я на жёлтые точки. Разрушив Я, запятая оказалась в верхнем полукруге В, и буква податливо расползлась; сзади надвинулось Л, но, зацепившись за запятую, прогнулось и распалось; следующее Я каким-то чудом проплыло сквозь рой огней и благополучно двинулось догонять **ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ СОВРЕМЕННОГО ЦЕЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БОРО ЯВЛЯЛСЯ**

Овация продолжалась, а на чёрном зеркале реки неспешно разворачивались дальнейшие события этой роковой ночи.

ЕТСЯ, вклинившись в самую гущу огненных точек, стало складываться гармошкой и превратилось в сложную фигуру, напоминающую переплет необычного окна; саморазрушаясь, напоззло И **БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ**, пополнив факельный рой; более осторожный **ВОПРОС** попытался обогнуть опасную зону, но расплющился о гранитную стену; длинное **СВОЕВРЕМЕННОГО** оказалось прочнее предыдущих слов

и до последнего старалось выжить, извиваясь, словно гусеница в муравейнике; остальные слова конца цитаты погибли одно за другим.

Во время крушения овация гремела не смолкая. И только когда распалось последнее слово, набережные постепенно смолкли. Толпа ночных зрителей оцепенела и, затаив дыхание, смотрела вниз.

Там шло лихорадочное движение: огни метались, росли, пытаясь выстроить вторую часть цитаты, но скелетоподобные полосы слов тут же разваливались на жёлтый бисер. Когда **ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ СОВРЕМЕННОГО ЦЕЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БОРО** ЯВЛЯЛСЯ Я благополучно проплыло Второй Мост, разделяющий своим чугунным телом два сословия, Основные массы встретили огненные слова такой громоподобной овацией, что огни факелов затрепетали, грозя потухнуть.

1979–1988 гг.

Дыра

Впервые Матвей Бурмистров обнаружил её в четверг на вечерней поверке.

Как обычно все построились восьмиконечной звездой на бетонной площадке возле Объекта, вытянули руки по швам и не мигая уставились в серое октябрьское небо.

Выкликающий, стоя в центре звезды на высокой бетонной тумбе, громким чётким голосом называл номера, и каждый трудовой десантник, услыша свой номер, стремительно вытягивал вверх сжатый кулак и кричал:

– Телом и душой!

Когда подошла очередь Матвея, он напрягся в секунду, весь обратился в слух и, поймав большими, прижатыми к голове ушами скороговорку выкликающего: «двeтысячeвo-сeмьсoтсoрoктрeтиий», глухо щёлкнул сапогами, выбросил крепко сжатый кулак и выпалил:

– Тeлoмидуушoooй!

Но в короткий промежуток между стуком сапог и молодым голосом Матвея вкрался ещё один странный неприятный звук – треск рвущейся материи. Заметив, как медленно наливаются алым уши рядом стоящих братьев по труду, Бурмистров понял, что они тоже услышали это.

За ужином и на вечерних занятиях Матвей был как всегда

спокоен и целеустремлённо-сосредоточен.

Но когда легли спать, он тихо встал, подошёл к маленькому барачному окну и при лунном свете осмотрел свою униформу. Матвей долго перебирал пальцами грубую мешковину, шурился сквозь неё на большую белую луну, тряс перед глазами и никак не мог найти дефекта. «Показалось», – устало подумал он и вдруг увидел её – маленькую, неровную, отвратительную, под мышкой, у самого основания правого рукава. Не справляясь с дрожью побелевших рук, Бурмистров ощупал её, словно пытаясь убедиться в реальности разрушенной материи. Дырка. Дырка под мышкой.

Толстая мешковина в этом месте давно уже утратила свой глухой серый цвет, подёрнулась белёсо-жёлтым налётом. Нитки ослабли и, казалось, стали реже.

Матвей поднёс скомканную гимнастёрку к лицу и осторожно понюхал дырку. Она пахла потом, дымом и гнилыми барачными брёвнами.

Эти запахи, знакомые Матвею с детства, немного успокоили его, и густой липкий ужас, текущий из чёрной, с неровными краями дыры, постепенно угас. Матвей на цыпочках подошёл к своим нарам, вытянул из-под тюфяка жестяную коробочку, открыл, нашёл иголку со вдетой суровой ниткой, извернувшись к окну, аккуратно зашил дырку.

Весь следующий день Матвей работал как никогда. Два его молодых помощника, едва успевавшие подавать ему кир-

пичи и раствор, взмокли и устали уже к двенадцати. Матвей попросил сменить их и продолжал работать в том же темпе.

За шесть лет строительства Объекта он научился с виртуозной быстротой и точностью класть кирпичи и по праву входил в сотню Ударного Десанта Первой Степени.

И на этот раз руки не изменили ему – тысяча двести восемьдесят семь кирпичей, уложенных Бурмистровым, стояли плотной монолитной стеной с ровным, уверенно законченным верхом. И хотя любую ежедневную кладку Бурмистров никогда не оставлял со ступенчатым, ломаным верхом, на этот раз свежесложенная стена отличалась какой-то особенной строгостью и чистотой линий, исключавшей, казалось, самый мизерный перекосяк.

На политзанятиях Матвея вызвали всего один раз. Ему достался восемьдесят третий съезд Трудового Союза Населения, о котором он сумел рассказать так чётко и лаконично и в то же время с такими исчерпывающими подробностями, что ведущий, выслушав его ответ, вытянул перед собой руки и в знак высшей оценки сцепил их замком.

На вечерней поверке Матвей одним из первых занял своё место в огромной трёхтысячной звезде, накрыл подошвами выведенный на бетоне номер, развёл носки сапог на девяносто градусов и, плотно прижав руки к бёдрам, запрокинул голову в небо.

Пока выкликающий, судорожно глотая сухой осенний

воздух, добирался до номера Матвея, Бурмистров силился угадать в контуре небольшого серо-бурого облака ястребиный профиль Великого. Но облако, зацепившись нижним концом за огромную, похожую на смятую башню тучу, странно растянулось, осело вниз и, расплываясь рваными клочьями, попеременно становясь навьюченным ослом, раздавленной собакой, крокодилем, лежащей женщиной, наконец вытянулось в длинную, плавно изогнутую ленту.

– Двeтысячeвoсeмьсoтсoрoктрeeeтeиий!

Смуглый жилистый кулак ткнулся в успевшую развалиться на рыхлые куски башню; Матвей открыл рот, но опережая его ответ, над неподвижными бритыми головами снова проползло сухое, вкрадчивое:

– Хыыыытpprrr...

Матвей почувствовал, как холодный воздух хлынул в прореху. Выкликающий повернул к нему напряжённо побелевшее лицо.

– Телoмидушooой!!! – зажмурив глаза, Матвей крикнул так сильно, что в правом ухе тонко прокатилась гранёная горошина и долго стояло поющее хрустальное эхо.

Когда после общей команды третий клин звезды, в котором стоял Матвей, плавно отделился от соседних и, сотрясая бетон гулким вкрадчивым ритмом единого шага, двинулся к своему барaku, Бурмистров покосился на товарищей и заметил, как настороженно белеют в густеющем воздухе их худые

шей, полуутопленные в серых воротничках.

За ужином Матвей несколько раз пытался встретиться глазами или перемигнуться с кем-нибудь из соседей по узкому деревянному столу, но они бледнели, опуская глаза или отворачиваясь.

На вечерних занятиях высокий сухощавый опрашивающий монотонно расхаживал по классу, теребил прикрепленный к воротничку платиновый треугольник, слушал ответы и молча давал им оценки: сцепленные перед собой руки – пять, рука, согнутая в локте – четыре, поднятая ладонь – три, удар железной палкой – два.

Бурмистров, сжатый с боков неподвижными товарищами, сидел на шестой скамейке и, ожидая вызова, цепенел, чувствуя, как пот сползает по бритому затылку к туго стянутой воротничком шее, а впалые щёки исходят томительным жаром.

Но вызова не было – опрашивающий требовательно касался длинной стальной палкой далеко и близко видящих, заставляя их мгновенно вскочить и, глядя в потолок, безостановочно излагать выученное.

Уже успели ответить прижавшиеся к Матвею соседи, а он всё сидел, наливался потом, слушал бесконечные разногласицы монологов и ждал, ждал, ждал.

Ждал чугуनेющим, оцепеневшим, стиснутым телом.

Ночью Бурмистров встал, нашёл иголку с ниткой и, зажав скомканную гимнастёрку под мышкой, тихо пробрался к окну.

Развернув пропотевшую материю, он сразу увидел дыру – она была вдвое больше прежней.

Матвей поднёс её к лицу, чтобы рассмотреть получше, и его худые руки, мертвенные под холодным лунным светом, мелко задрожали: суровая нитка, которой он прошлой ночью стянул прореху, осталась цела и по-прежнему сидела в холстине ровными стежками, но гнилая, созревшая материя, окружающая аккуратный шов, расползлась, расслаиваясь желтовато-серыми мохнатыми нитями.

Матвей понял, что сдержать дальнейшее расползание сможет только большая добротная заплата.

Но если поставить заплату – кто-то обязательно увидит её, ведь Матвей часто поднимает руки на работе или в бараке. Можно, конечно, подо– брать заплату такого же цвета, как холст под мышкой, но это трудно.

Бурмистров наморщил редкие брови и осторожно прижал лоб к холодному грязному стеклу.

Вырезать заплату из гимнастёрки нельзя – сразу будет заметно. Использовать для этого брезент, которым накрывают цемент, тоже невозможно – он грубее холста, да и цвет совсем другой.

Вот если подыскать похожее место на штанах...

Матвей вернулся к своим нарам и вытащил из-под тюфяка сложенные вчетверо брюки. Они были скроены из такого же холста и на вид казались чуть грязнее гимнастёрки. Матвей долго рассматривал их перед окном, мял, щупал и наконец решил вырезать заплату из самого низа штанины, который всегда заправлялся в сапог и был такой же гнилой и линялый, как холст под мышкой.

Осторожно орудуя обломками ржавого лезвия, Бурмистров вырезал овальный кусок материи, приладил к дыре и пришил.

Потом несколько раз подёргал рукав и, убедившись в прочности заплаты, лёг спать.

На рассвете он встал раньше дежурных, осторожно вынес и опорожнил все семь параш; стараясь не шуметь, подмёл проход и терпеливо дождался подъёма.

От завтрака Матвей отказался и протянул его рядом сидящим десантникам. Те испуганно замотали бритыми головами и уткнулись в свои гремящие медные миски.

За рабочий день Бурмистров дважды сменил помощников и успел положить тысячу четыреста восемь кирпичей.

Когда, пошатываясь, он отошёл от кладки и попытался уместить её в свои усталые помутневшие глаза – она показалась ему громадной, и впервые Матвей усомнился в реальности бледных кирпичей, склеенных ровными подсыхающими

ми перемышками.

Он медленно спустился по деревянным настилам вниз и вместе с другими трудовыми десанниками направился к политбараку.

Возле узкой двери, как всегда, скопилось много людей, они толкались, сясь протиснуться внутрь и занять первые места.

Матвей, пристроившись сзади, решил подождать, когда пройдут все, но вдруг толпа обернула к нему своё лицо, смолкла и податливо расступилась.

Матвей нерешительно прошёл сквозь вжавшихся друг в друга десантников, миновал коридор и, войдя в класс, сел с левого края.

Как и вчера, его ни разу не вызвали, зато некоторых десантников опрашивающий поднимал дважды.

Матвей сидел, уткнувшись глазами в неровный изношенный пол, ждал вызова, тоскливо удивляясь, что его никто не сжимает и не теснит потными, пропахшими гнилью телами.

Товарищи, влепившись друг в друга, отодвинулись от него, и каждый раз, когда он оборачивался, испуганно отводили глаза.

На вечерней поверке, ближе к тысяче мелкий холодный дождь подложил под звонко рвущийся голос выкликающего мягко шуршащую подкладку. Голова и плечи Матвея медленно намокли, и знакомая неуютная дрожь постепенно вошла в тело.

После двух тысяч контур мокрого выкликающего стал теряться на фоне серой громады Объекта и, вскоре начисто съеденный тьмой, пропал вовсе, слипшись с сумрачными кирпичными изломами.

Когда Матвей услышал, наконец, свой номер, ему показалось, что это вопросительно крикнул какой-то острый угол огромного здания.

Бурмистров выстрелил судорожно сжатым кулаком в морозящую тьму и услышал, как слабо затрещала успевшая подмокнуть материя.

Ночью он вырезал из штанины две заплаты – маленькую и большую. Стянув маленькой свежую прореху, Матвей наложил сверху большую и кропотливо обшил её края.

Потом попробовал рукав на прочность, дёргая его и растягивая. Спать он лёг за три часа до подъёма.

Соседи по нарам с вечера перешли в другие отсеки, и Матвей впервые за шесть лет свободно вытянулся на грязном жёстком тюфяке.

Через пару часов он проснулся, оделся, осторожно слез с нар и вынес параши. Затем подмёл барак и протёр все восемнадцать маленьких грязных окошек.

На завтрак Матвей не пошёл, а сразу направился к Объекту и работал целый день не разгибаясь, успев сменить три пары помощников.

В сложенной им стене слепо зиял большой прямоугольник будущего окна, что наруша— ло её чистоту и монолитность. Матвей почистил мастерок, отвязал фартук и сосчитал кирпичи. Их оказалось две тысячи восемьсот сорок три.

У входа в политбарак люди снова беззвучно расступились перед Бурмистровым. Матвей вошёл в полуосвещённый узкий коридор и направился к своему классу.

Не успел он поравняться с четвёртой дверью, как она распахнулась, высокий молодой десантник сосредоточенно выбежал из неё, но столкнувшись с Матвеем, отпрянул и нерешительно остановился.

В полуоткрытой двери виднелась плотная, залитая тусклым светом фигура классного наставника.

Матвей шагнул вперёд, парень шархнул к двери, но, услышав спиной вопросительно ожившие шаги наставника, вобрал голову в серые плечи и боком, шумно задевая стену, бросился мимо Бурмистрова.

Уже у самого выхода, когда распахнутая входная дверь поглотила торопливое эхо его грохочущих сапог, десантник зацепился за что-то и долго, мучительно падал, цепляясь деревенеющими руками за гнилой барачный воздух.

Матвея опять не вызвали, и он оцепенело просидел на своём левом краю, изредка оглядываясь на товарищей, которые, стараясь как можно дальше отодвинуться от него, совершен-

но сжались, переплелись, слиплись в серую, потную, пестрящую бритыми головами массу.

Когда три тысячи человек молча построились в восьмиконечную звезду и выкликающий, поднявшись на круглую бетонную тумбу, деловито раскрыл папку с номерами, Матвей робко огляделся и с ужасом заметил, что стоящие рядом десантники непозволительно далеко отодвинулись от Матвеева номера, сошли со своих мест на шаг или больше, а некоторые вообще встали на номера своих бывших соседей.

От мысли, что из-за него может произойти страшная путаница, Матвей вспотел и почувствовал, как волна холодного тоскливого огня пробежала по корням обритых волос.

Выкликающий начал перекличку, и словно крохотные поршни стали то тут, то там подниматься и исчезать серые руки, опережая разноречивых отвечающих голосов.

Матвей снова оглянулся и понял, что в самом центре третьего луча образовалась дыра, которая не может не броситься в глаза выкликающему.

Но тот продолжал размеренный опрос.

Бурмистров подождал ещё несколько минут и решил подать товарищам какой-нибудь знак, чтобы они сомкнулись, заполнили прореху.

Он отлепил ладонь от бедра, сложил горстью и, загребая холодный, начавший темнеть воздух, несколько раз двинул ею к себе.

Ближестоящие трудовые десантники побледнели и, чуть слышно переступив стоптанными сапогами, отодвинулись ещё дальше.

Матвей слизнул языком пот с трясущейся верхней губы, опустил голову и больше не поднимал её.

Выкликающий тем временем добрался до третьего луча — у самой вершины вылетел в небо один кулак, за ним другой, третий, и медленная, едва различимая в сырой тьме волна стала подползать к дыре.

Матвей ждал.

Металлический голос выкликающего коснулся десантников, стоящих по краям неровной дыры, и те ответили громкими, притворно спокойными голосами, вскинули кверху нарочито бодрые кулаки...

- Дветысячивосемьсотсороковой! —
- Телом и душооой!
- Дветысячивосемьсотсорокпервый!
- Теломидушоой!
- Дветысячивосемьсотсороквторооой!
- Эломидушооой!
- Дветысячивосемьсотсорок... четвёртый!
- Теломидушёей!
- Дветысячивосемьсотсорокпятый!
- Дэломидушоооэй!

Матвей с трудом приподнял голову и удивлённо посмотрел в холодную, изрезанную каменными плоскостями тьму,

сияясь разглядеть ошибившегося выкликающего.

Но тот опять неуловимо растёкся по сумрачному фасаду Объекта, продолжая гулко, отрывисто кричать то из ребра угрюмо нависающего балкона, то из чёрного провала окна.

Со стороны пустыря налетел студёный, пронизывающий ветер, завыл, набросился на распластавшуюся под чёрным небом звезду, но быстро запутался в частоколе неподвижно стоящих тел и погас.

– Дветысячидевятьсотдевяностоседьмой!

– Теломидушой!

– Дветысячидевятьсотдевяностовосьмой!

– Иэломидуушй!

– Дветысячидевятьсотдевяностодевятый!

– Тэломидшой!!

– Трёхтысячный!

– Теломидушоой!

Матвей услышал, как хрустнул промёрзший целлофан захлопнувшейся папки и выкликающий мягко сошёл с тумбы.

«А как же я?» – лихорадочно подумал Матвей.

Слева послышалась знакомая скороговорка:

– Любимый Старший Руководитель Третьей Степени Старшинства, звезда номер шестьсот тридцать один, после трудового дня опрошена. Отсутствующих нет.

И сразу же вслед за этим – скупое шарканье подошв, вздох мнущейся в темноте матери:

– Опрошенная звезда номер шестьсот тридцать один, слу-

шай мою команду: по направлению лучей, не меняя построения, одновременно, единоутробно, парадным шагом – шаа-агооомммм.....аршш!!!

Матвей привычно вскинул левую ногу и через секунду припечатал кожаную подошву к бетону, глухо ухнувшего от первого раскатисто-го шага трёхтысячной звезды. Вторая нога оторвалась от тускло светившегося номера и была готова опуститься вслед первой, но в бритой голове Бурмистрова вдруг ожили слова команды:

«Опрошенная звезда... Опрошенная! – с ужасом подумал он. – А меня-то не опросили! Я-то не опрошен!»

Матвей не заметил, как остановился, как, едва расступившись, проплыл сквозь него монотонно грохочущий третий клин.

Когда Бурмистров опомнился, рядом никого не было.

Оживший ветер спутывал угасающий шум расползшихся клиньев.

Матвей осторожно сошёл с номера и покосился на серую громаду Объекта, торжественно подпирающую чёрное небо.

– А как же я? – тихо спросил он у ветра и втянул голову в сутулые плечи.

Ветер скользнул по опустевшему бетонному плацу, протёк сквозь складки Матвеевых брюк и пропал...

– А как же я? – снова проговорил Бурмистров и вспомнил: – Опрошенная... Опрошенная! Опрошенная звезда, а я – не опрошенный. Значит, меня должны опросить. Опро-

сят... Значит, меня ещё опросят? – Он лихорадочно провёл ладонью по бритой шишковатой голове и вдруг вздрогнул, пораженный внезапной догадкой:

– Опросят! Обязательно опросят! Должны!

Бурмистров быстро встал на свой номер, расправил плечи, прижал руки к бёдрам, запрокинув вверх дрожащее лицо, стал ждать.

– Дветысячивосемьсотсороктретий!

Казалось, это рявкнула чёрная, колюче посверкивающая звёздами бездна.

– Телом и душоооой!!!

Кулак полетел в ковш Малой Медведицы.

У Полярной звезды его догнал протяжный треск гимнастёрки.

Сзади сухо рассмеялись.

Матвей обернулся.

Рядом с ним стояли двое в голубой форме – высокий седой старик и широкоплечий коренастый парень.

Старик властно протянул руку, и парень быстро вложил в неё длинный, холодно сверкнувший предмет.

Старик убрал его за спину и кивнул широкоплечему. Тот быстрым пружинистым шагом подошёл к Матвею и громко потребовал:

– Руки!

Матвей протянул. Парень завёл их ему назад и крепко

скрутил куском колючей проволоки. Потом схватил Бурмистрова за шею, резко согнул и поставил на колени. Старик подошёл сзади, коротко размахнулся и всадил в голую голову Матвея узкое трёхгранное лезвие.

Парень подождал, пока ноги Матвея Бурмистрова перестали бесцельно ёрзать по шершавому бетону, нагнулся и, подхватив их под мышки, бодро поволок тело к стоящему неподалёку фургону.

Старик достал папиросу, неторопливо размял её своими жилистыми сухощавыми пальцами, раскурил и, скупно отпуская дым холодному осеннему ветру, долго щурился на ровные ряды жёлтых барачных окон.

1978 г.

Полярная звезда

Пальто упорно не хотело сниматься с гвоздя – ветхая, не в меру длинная петелька вешалки путано обмоталась вокруг лоснящейся, изогнутой шейки, начисто скрыв решётчатую насечку кривой шляпки.

Кротову не потребовалось вставать на мыс–ки – он был достаточно высок, наклонился, близоруко сощурился и, вцепившись узловатыми пальцами в чёрный драповый воротник, дёрнул: сухо треснула вешалка, в карманах звякнула мелочь.

– Не так страшен чёрт...

Разорванная петелька разошлась мохнатыми, слабо шевелящимися концами, пальто поползло вниз. Кротов подхватил его, потряхнул, забросил на спину и, согнувшись ещё больше, долго и неточно ловил руками просторные рукава.

– И не это главное. Имею. Различия прошлого...

Спина взбугрилась толстыми складками, воротник осел на безжалостно скошенные плечи, выпустил бледный остов куриной шеи; чёрная пола, беззвучно запахиваясь, прошла над низкой тумбочкой – загремели свалившиеся ключи.

– Ну уж совсем... – Бессильный выдох пыльно мнущегося драпа, треск длинных, поспешно согнувшихся ног. Кротов сгрёб ключи, бесстыдно распластавшиеся на грязном полу (тонкое соединительное колечко зависло над чёрной щелью),

сунул в карман, нахлобучил широкополую шляпу и, оттянув головку замка, открыл дверь.

– И не в том дело. Есть ведь. Не кто-нибудь... Нет. Забыть только... узнать...

Тягуче запели петли, качнулась расхлябанная ручка, дверь благодарно щёлкнула. Осторожно держась за перила, Кротов спустился по узким, еле видимым ступеням, ткнулся плечом в пахнущую краской тьму – она задрезбужала потревоженной пружиной и громко треснула ровным проёмом: в нём спаялись по причудливой ломаной сумрачно-синее (с бледной сетью слабо намеченных звёзд) и тёмно-серое (с лабиринтом притуплённых тьмою углов и чёрным ритмом мёртвых окон). Проём быстро, скрипуче рос и пах поздней осенью.

Кротов отпустил слабо хлопнувшую дверь (помешала забившаяся под створку тряпка), поднял воротник и огляделся: пустая улица быстро суживалась, стягивала в сырую тьму трёхэтажные дома, застарелый асфальт, частый ряд обглоданных тополей и редкий – зелёных мусорных контейнеров (один – в двух шагах, второй – у будки сапожника, третий – возле криво вросшей в землю бетонной трубы, четвёртый, основательно размытый сумраком, – под сенью нечёткого забора).

Кротов сунул руки в карманы, вздохнул поглубже и выпустил струю слабо побелевшего воздуха:

– И уметь – тоже не главное. Важно знать... знать. А то – исключение! Ляпсус майнус...

Он сухо рассмеялся (возле напрягшихся крыльев носа веером разошлись мелкие складки) и двинулся вниз по улице – согнувшись, разведя острые чёрные локти, теряя треть роста из-за слишком широких шагов.

– Добрососедство, не спорю. Но в законах – мы не виним. Нет... Только добрососедство...

Из-под полуоткрытой крышки контейнера выскочила крыса, вместе с потревоженным мусором шлёпнулась на землю и неторопливо побежала, волоча длинный хвост.

Кротов остановился, сощурившись проводил её поворотом своей сплюсненной с боков головы, согнулся ниже и снова зашагал:

– А уметь – не главное. Нет. Важно знать...

На углу с ним столкнулся какой-то беспощадно распахнутый человек, обмахнул длинным, плавно опережающим его шарфом, отскочил в сторону и скрылся, торопясь.

Из чёрного парадного вылетели двое – оба толстые, маленькие, в коротких пальто. Заспешили вслед за распахнутым.

Еще двое выбежали из соседнего двора, остановились на мгновение («Через Средний!» – «Ты чо! Через Второй!») и сверхъестественно быстро, двумя серыми, перегоняющими друг друга пятнами пересекли улицу (помогла сгущающаяся

тьма).

Кротов посмотрел вслед пятнам (они прошли сквозь фасад нежилого дома), вздохнул и двинулся дальше.

Возле железной, непонятного вида тумбы он повернул, подошёл к плотному полинявшему забору и, отодвинув две доски, уперевшись ладонью в холодное дерево, просунул ногу в узкую дыру: за забором лежал длинный проходной двор.

Здесь было так темно и сыро, так сладко пахло овощной гнилью и прелыми листьями, что Кротов вытащил руки из карманов и, слегка вытянув перед собой, посмотрел вверх – на сдавленный крышами осколок неба:

– Они уверены, что обстоятельства не вынудят... Как бы не так! Ляпсус майнус!

Он качнулся и пошёл как пьяный – оступаясь, проваливаясь, щупая руками прогорклую тьму. От ноги отскочила невидимая бутылка, загремела по асфальту и глухо стукнулась обо что-то, не разбившись. Слабо треснула мелкая, подмёрзшая лужа.

Справа из ряби бледно-серых пятен слепилась стена, возле выросла группа молчаливых высоких людей, которые через десяток неуверенных шагов оказались гнилыми столбами от какой-то развалившейся деревянной постройки. Кротов обошёл их, оскальзываясь на беззвучно мнущейся трухе, долго пробирался вдоль стены, ощупью влез по гладким, забитым землёй ступеням, шагнул на покатую грудку: под ногами гулко ожила потревоженная жёсть и что-то вкрадчиво

посыпалось – сухое и мелкое.

– Мы вовсе не застрельщики. Мы – мастеровые. Но знать – всё равно главное. Не уметь...

Он неловко спрыгнул вниз, захрустел битым стеклом, шумно шарахнулся в сторону и, запутавшись в засохшем кусте бузины, долго выбирался из его цепких когтей:

– Это не так сложно – социальное упрочнение...

Впереди всплыли и медленно повернулись несколько сумрачных кирпичных углов, возник тусклый, резко сжатый глухими стенами свет, лампочка сверкнула в луже и выбежал – теперь уже человек. За ним другой. И третий.

Кротов подождал, пока их торопливо сбивающиеся шаги завернули за угол, стал выбираться из скользкой тьмы и – ыхххх! – напорвшись горлом на обледеневшую бельевую верёвку, вовремя подхватил слетевшую шляпу:

– Нетерпение! Да просто порванные судьбы...

Он прошёл под лампочкой, обогнул кучу пустых ящиков и двинулся за угол – туда, где ещё не успела растаять колкая дробь убежавших. Стена повернулась к нему, в ней прорезалась высокая арка всё с тем же сырым, пахнущим осенью содержимым – слегка потемневшее сумрачное – синее и окончательно утратившее углы, постепенно становящееся плоскостью тёмно-серое.

Кротов вышел из-под арки и приостановился: километровая полоса Автокорма была непривычно пуста, огромная

площадь немо распласталась перед ней. Он нахмурился и осторожно сдвинул ползущую на лоб шляпу: за свои сорок восемь лет ему не часто приходилось видеть пусто посверкивающие ячейки Автокорма – также странно рассматривать череп некогда знакомого тебе и человека или наблюдать тоскливую метаморфозу старого, давно облюбованного твоими глазами муравейника: под влиянием неведомых тебе явлений (рождение новой звезды или приближение конца света) его поверхность вскипает муравьями, колеблется и начинает осыпаться, оголяя то, что составляло милую покатость чёрного холмика – тусклую, безликую сталь серийного пылесоса.

– Неправоммерно и не нужно... только раз...

Кротов зажмурился, подождал, пока уляжется калейдоскоп сине-зелёных осколков, и вызвал из памяти обыденное, с детства знакомое: маслянистый шум толпы, одинаковые головы, нетерпеливо заглядывающие друг другу через плечи, белесый пар, зависший над Автокормом, длинные чёрные гусеницы очередей к ячейкам, запах варёной свеклы и мокрого хлебного мякиша, рёв громкоговорителя, вспышки злобного спора, быстро обрастающие словами и участниками, молчаливо насыщающиеся лица...

Он открыл глаза и снова прошёлся ими по тусклым подробностям голубой громады: её съеденный сумерками конец терялся в нагромождениях быстро темнеющих зданий.

– Принимая решение – увериться. Оказаться на задвор-

ках! Забыть! Да это...

Сзади пробежал человек.

Кротов вздохнул и пошёл к Автокорму.

Слева из-за угла выскочили трое, заспешили через площадь. Кротов подошёл к голубой, крепко переплетённой металлом стене, порылся в карманах и достал пяточок. Над квадратом ячейки теснились до блеска начищенные буквы: ГЛОТАЯ СВОЙ ХЛЕБ, ПОМНИ, КАК ДЁШЕВО ОН ДОСТАЁТСЯ!

Перед тем как опустить пяточок в прорезь, надо было три раза про себя прочесть надпись.

Кротов вспомнил эти секунды покоя, сходящие на лице прилипшего к ячейке – сзади напирает, дыбится пахнувшая мазутом очередь; тот, – оперевшись потным лбом в металлическую заповедь, закрыв глаза, впитывает в себя её незатейливый шрифт, а грубые, изуродованные работой пальцы всё крепче и крепче прикипают к грязной медяшке...

Кротов потянулся к прорези, как вдруг:

– Эй ты, шляпа!

Он вздрогнул и оглянулся.

– Поть суда!

Кротов опустил руку и пристальней всмотрелся в серую тьму: там колыхались какие-то угловатые тени.

– Я каму хаварю?!

Кротов согнулся и нерешительно двинулся на голос; они стали медленно выплывать из сумрака – чёрные, как выкрой-

ки – двое невысоких, слепившихся широкими плечами, и третий – одинокий в своей долговязости нетерпеливо поскрипывающий сапогами:

– Живей тавай, фитттиль...

Едва перетаскивая непослушные ноги, Кротов подошёл. Один из широкоплечих близнецов рассыпался хриплым кашлем:

– Хы хто хахой? Хы хах стесь охазалсь? Хы што – порядку не знашь? Хы пачему не на Плошщади? Пьян, што ль? Пьянай, сволачь, в день хакой?! Залп чрес семь минут, а он-пьянай! Пьянай, хавари, што ль?

Невидимые руки зашуршали ворсистой материей, щёлкнуло, полоснуло глаза белым светом: Кротов отшатнулся, закрыл лицо рукой.

– Давай документ, фитттиль...

Горбятся, Кротов деревенеющей рукой полез за пазуху, долго остервенело рылся и вместе с потёртой картонкой выдрал из себя:

– Я право имею. Я работник. Я, знаете ли, работник. Я имею не посещать. Я поесть пришёл. Имею не посещать.

– Даааааай! – Худощавый надвинулся, заскрипел ремнями портупеи. Они выхватили из его пальцев удостоверение и сгрудились над ним широким трёхликим монстром, уродливо высвеченным упёршимся в картонку фонариком:

– К... К... Кротов. Кротов. Васи... не мешай... Василий Кузьмич... мааассажист четвёртого раз... разряда Централь-

ных Государственных Бань...

Кротов скрестил на животе дрожащие руки и посмотрел вверх: звёзды чётче проступили на высоком тёмном небе и горели холодно и колюче.

– Ды ты не это – а вот это, это... классифицирован как обслу... обслуживающий персонал седьмого порядка важности. Печать. Печать... вот. Уху.

Монстр засопел и медленно развалился на три ленивых куска, луч качнулся и снова ударил по Кротову:

– Кротов. Крот значит. Ты не похож на крота, ишь пальто-то себе длинное достал.

– Он на хлисту похож. Хротоу...

– Кроты толстые.

– Ишь глист, а право имеет. Бааанщик...

Свет пропал, удостоверение полезло в руки ослепшему Кротову:

– Дерши, Хрот.

– Крот – он землю гребёт. Вот так, – возле чёрной головы долговязого заходили грабли огромных рук.

Кротов сунул картонку в карман.

– Топай, банщик.

Кротов, нерешительно ёжась, поправил сползшую на лоб шляпу.

– Топаай, кому сказал! – Один из двойников шаркнул подошвой и угрожающе сплюнул. Кротов повернулся и пошёл к Автокорму.

Пятачок провалился в щель, снизу вылез бумажный стаканчик, тугая струя ударила в его дно. Кротов обнял пальцами мягкий горячий цилиндр, бережно вынес его из-под нависающего уступа и свободной рукой нащупал в овальной нише выпавший кубик чёрного хлеба.

– Не так страшен черт...

Сзади налетел ветер – холодный и долгий, прополз по брюкам, пошевелил поля кротовской шляпы и ткнулся в спину сохлым листом.

Привалившись к Автокорму, Кротов откусил хлеба, неосторожно склонившись над стаканчиком, хлебнул: свеколовичный отвар показался ему горячим и густым. Он снова хлебнул и прислушался: в животе еле слышно ухнуло и ожил крохотный кларнет.

– С утра даже... Ляпсус майнус!

Он рассмеялся, отёр рукавом потёкший нос и опять потянулся к стаканчику, но наверху возник ослепительный свет, мгновенно разросся и перешёл в сухой раскатистый треск. Кротов не успел поднять головы: его пальцы стали белыми, рукава пальто пепельными, чёрный дымящийся кружок свекольного отвара покраснел, в нём вспыхнул зелёно-жёлтый квадрат, отчаянно заискрил, и, распираемый знакомым красным профилем, стал расширяться.

Кротов поднял глаза: квадрат висел над городом, слабо потрескивая, профиль улыбался.

Кротов оглянулся: площадь лежала чиста и светла, дома стали плоскими и близкими, а дальний конец километрового Автокорма торчал рядом, искушая коснуться его рукой.

Квадрат затрещал, запестрил огнями, изогнулся и, медленно оседая, распался жёлто-зелёным бисером.

Снова обвалилась тьма и вместе с нею – приглушённый, широкий и сочный рёв миллионной толпы – там, за кубиками домов, на Главной Площади...

Кротов отбежал от стены и задрал голову: небо взорвалось ярко-синим, хлопнуло во все стороны, в полный рост всплыл Он – уже в объёме – громадный, толстый, пестрящий голубыми огнями, с крепко сжатым уходящим в небо кулаком. Мгновение Он стоял, вылепленный огнями, высясь над городом, подпирая собой просветлевший свод, потом заискрил, тронулся, рука повалилась на медленно оседающую голову, рассыпалась голубыми звёздами. Очутившись в темноте, Кротов почувствовал, что он кричит, что шляпы нет на его голове, что пальцы обеих рук сжимают пустоту. Он упал на колени – ослеплённый, оглушённый новым приступом сочного рёва, зашарил руками по асфальту – невидимому, разящему осенней сыростью и свекольным отваром. Над ним снова взорвался свет, прокатился треск и распластался Он – сиренево-красный, плоский, на коричневой трибуне с растопыренной ладонью и запрокинутой головой.

Шляпа, оказывается, лежала рядом, край ослепительно-белого стаканчика торчал из-под пепельно-серого ботин-

ка, хлеб валялся возле нестерпимо голубого Автокорма.

Кротов бросился к нему, схватил, метнулся к шляпе – небо погасло и почти сразу вспыхнуло снова: Он – красно-синий, с жёлтыми искрами пуговиц, вытянулся в зелёном кресле. Кротов нахлобучил шляпу и, придерживая её, подставил Ему своё запрокинутое лицо: кресло стало крениться и вместе с ним – Он, с плеч Его посыпались серебристые погоны, голова поползла вниз, просела, затрещала и разлетелась огненными брызгами.

Кротов проследил за угасанием последних, устало отставших огней, сунул хлеб в карман:

– Закономерность не в этом! Мы к распаду непричастны... Закон... Закон требует, а не мы...

Над головой ослепительно взорвался оранжевый шар, протяжный треск настиг его (так, наверно, боги рвут свои хитоны), расправились блёстки огромной плоскости – Он – в зелёном кителе, коренастый, оперевшийся в город близко посаженными глазами, коротковолосый, узколоб... О, Бооооже!

Кротов замер, присев на сухопарых ногах: левое ухо, Его ухо, ухо, так похожее на съёжившуюся дольку апельсина, ухо, тугие складки которого Кротов вынес ещё из детской памяти, ухо, отлитое в золоте, в бронзе, в стали и в чугуне, вырезанное из мрамора и гранита, из алмаза и янтаря, ухо, не имевшее пространственных границ, разрастающееся с поверхности маковых, рисовых и пшеничных зёрен до

километровых транспарантов, ухо, овальный контур которого множат миллионные тиражи, рисуют и лепят художники, описывают писатели, заученно выводят карандаши школьников, – отделилось от искрящей головы, отошло в сторону, вспыхнуло, съёжилось и рассыпалось поспешными звёздами, а Он – сжатый яростным жёлтым окаёмом, ещё горел, ещё парил над городом – безухий и строгий, и лишь когда стал разваливаться на лихорадочные блёстки, оседать, сыпаться и искрить – до Кротова в полной мере дошло то, ЧТО сейчас случилось, ЧТО произошло – тьма свалилась на него, и он окостенел, врос оледеневшими ногами в землю: собралась в сознании вся длинная, отлаженная цепь смутно известного ему аппарата, весь многотысячный штат управления разноцветными огнями салюта (каждый человек отвечает за свою звезду!), и так же, как ухо от упрямой узколобой головы, отслоилась, отошла от этой серо-зелёной, тщательно обученной массы горстка безрассудных смельчаков, управляющих ухом, и встал перед его глазами аккуратный цветной снимок, мельком показанный ему высокопоставленным клиентом, угреватую спину которого он так добросовестно мял по субботам: обложенная кафелем замера, высокая, похожая на сплющенного муравья машина и в её холодно поблескивающей голове – голый, изошрённо защемлённый человек, обезумевший глаз которого (другой заслонён порывисто изогнутой штангой) намертво и навсегда врос в естество Кротова так же прочно, как давно вросла вот эта одинокая,

холодная, самая яркая и самая высокая звезда, которую он – ослепший и тяжело дышащий – принял в первую минуту окончательной тьмы и темноты за непогасший остаток салюта.

1978 г.

Ватник

Но он по-прежнему висит в правом углу большой комнаты – между полупустой книжной полкой и башнеобразным нагромождением трёх грязных аквариумов.

За пыльными стёклами в мутно-зелёной воде вяло шевелятся рыбки какой-то невзрачной серийной породы, сонно всплывая и выплывая из трёх его отражений и регулярно сводя меня с ума своим ленивым спокойствием. Возможно, рыбки – единственные существа в нашей маленькой двухкомнатной квартире, которые по милости Божьей начисто лишены возможности чувствовать его присутствие и не видят ни чудовищно вспухшего плеча, ни провисших до пола рукавов, не слышат запаха его засаленного воротника, не вздрагивают по ночам от треска и шороха стены, готовой выпустить согнувшийся под его тяжестью гвоздь.

Каждое утро, на ощупь сбрасывая с себя непослушное одеяло, путаясь во взбитой очередным ночным кошмаром простыне, я приподнимаю взлохмаченную голову и, повернувшись к нему, долго покачиваюсь на онемевших руках, не смея разлепить сонные веки. И каждый раз через осколки разрушенного сна, сквозь лихорадочную рябь цветовых пятен проступает, открывается в моём сознании с детства знакомая композиция: книжная полка повисает слева, аквариумы – справа, внизу поспешно собирается жёлтый щербатый

паркет, потрескавшийся, бесконечно далёкий потолок спускается сверху, а посередине (о счастье, о утренний глоток белой свободы!) – ничего. Ничего! Только чистая вертикаль угла да не полинявшие ещё цветы зеленоватых обоев...

Обычно один глаз не выдерживает, и бесформенная тёмно-бурая тень на мгновение повисает между полом и потолком, заставляя другое веко растерянно заморгать. Здесь и происходит то ежеутреннее наложение, что так легко прогоняет из моей головы остатки сна: тёмно-бурое пятно после нескольких колебаний занимает место того божественно-белого Ничего, безжалостно раздвигает рисунок обоев и плотно втискивается в угол.

Мои руки перестают дрожать, я выпутываюсь из тёплой, раскисшей постели, встаю на холодный паркет и, изрядно поломав тело столбняком зевоты, вхожу в мою утреннюю реальность.

Она начинается с путешествия меж каверзных, сумрачных углов непроснувшихся вещей в глянцево-плиточный Эдем совмещённого санузла, с запаха хлорки и непросохшего белья, с необъятной раковины выеденного ржавчиной унитаза, с кривой водяной струи, с вялой щетины полупрозрачной зубной щётки и остро колющей моей, с сумбурного дверного царапанья деда:

– Скоро ты? Скоро, а?

Сливной бачок надсадно ревёт, зубная щётка тычется в треснутый, забрызганный белым стакан, в круглом зеркале

пляшет моё помятое лицо.

– Скоро ты? Скоро, а?

Скоро, скоро. Исчезает кривая струя, засыпается торопливыми каплями; растирая по щекам остатки махрового полотенца, откидывая крашеный клювик крючка – трясущийся дед пролезает сквозь меня, а я – притворно бодрый, с меловым привкусом зубного порошка во рту – возвращаюсь в сумрачную комнату, где из правого угла тёмно-бурое чудовище посылает мне своё ежеутреннее приветствие – глухое чёрное О! круглого, до блеска засаленного воротника.

Да. Он кажется мне тёмно-бурым. Я говорю «кажется», потому что не знаю его настоящего цвета. Дед утверждает, что он светло-серый, отец (он сидит сейчас на продавленной кровати, протирая глаза) говорит, что ватник темно-то-жёлтый, мать вообще не может сказать о его цвете ничего определённого, а мой пятилетний брат кричит, прыгая на одном месте, что он – синий! синий! синий!

Иногда я пытаюсь представить его таким, каким видят они – светло-серым или синим, но от этого степень его чудовищной нелепости нисколько не уменьшается – ватник, получив налёт какой-то угрюмой романтики, продолжает распира́ть угол синим пятном, но по-прежнему вспухает его плечо, мягкие, безвольные трубы рукавов тупо тычатыся в паркет, рваные замызганные полы... Впрочем, почему – рваные?

– Это мысли твои рваные! И голова твоя дырявая!

Когда дед произносит эти слова, его худое, изломанное,

словно лаконичная металлическая конструкция, тело остеневает и еле заметно вздрагивает, а бледное, невообразимо узкое, как топор, лицо прицельно тянется в мою сторону:

– Ватник совсем новый, понятно?! Если ослепли вы, то я пока ещё зрячий! Зрячий! Ишь, как просто – «старый». «Рванный»! «Облезлый»! Да вы цены вещам не знаете! Да и сам ты погляди... – Он начинает дрожать сильнее, цепко хватая меня своими жёлтыми костяными пальцами, подтягивает к ватнику и, лихорадочно тычась руками в расползшиеся, гнилые нити, через которые лохмато лезет бурая вата, остервенело шепчет мне в ухо:

– Новый ведь! Новааай! Неношеннааай! А если и ношен – немного! Чуть-чуть! Понимаешь? Чуть-чуть! А выии – выкидывать! Эххх выыии... – Он отстраняется от меня, блещит полными слёз глазами: – Не умеете вещи ценить. Что имеем – не храним, потерявши – плачем.

И, неожиданно напрягшись, снова заносит надо мной бледный топор своего лица:

– А ведь быстро осмелел ты, сссукин сын! Ума-то, ума набрался, ишь! Смотри, доумничаешься, интеллигент вшивый...

Я думаю, когда-нибудь он не вытерпит и в очередную минуту гнева, в страшное мгновение ничем не уталяемой ностальгии по бесконечным, гулко ловящим грохот марширующих колонн площадям, по идеалогически обновлённым фронтам и полированным постаментам рассежёт наконец

своим старым морщинистым колуном меня, братишку, мать, отца...

Нет. Отца оставит.

– Дети и ты, Фаина, поймите – всегда легче критиковать, чем строить. Выбросить или сломать вещь проще, нежели сконструировать или сшить.

После этих слов отец – круглый, белый и мягкий, словно готовое к выпечке тесто, – неслышно подходит к ватнику, осторожно приподнимает огромный хобот рукава и, косясь на угрюмо сгорбатившегося в углу деда, выпускает из-под мягких рыжеватых усов белые бархатные шары. Они лениво догоняют друг дружку, беззвучно сталкиваясь, слипаются в глухой сонный ком:

– Обратите внимание... не такой уж старый... уметь разобраться... ты, Фаина, лишена политической прозорливости... необходимо понять... немного износился... нужно учитывать... не всегда верно... уважение к реликвиям... что было – то было, не спору, но... подкладка совсем новая... положение вещей... каждый на его месте... никому не мешает... может ещё пригодиться... не надо с бухты-барахты... складывалась десятилетиями... узаконено... себя, себя винить надо, а не...

Мать в такие минуты стоит прислонившись к облупленному дверному косяку, устало опустив свою большую некрасивую голову, уперевшись полной, побелевшей от постоянной стирки рукой в другой косяк, на котором чернеют две

лесенки нашего роста (брата – пониже, моя – повыше), кои я так люблю рассматривать во время затяжных дискуссий о судьбе ватника.

Как правило, когда я, с трудом сдерживая зевоту, рассеянно скольжу глазами по шкале брата (вот эта – когда ему три, эта – с поспешной извилиной – три с половиной, а эта – чернильная, с размазанным хвостиком – после трёх месяцев у тёти Веры), мать грузно отталкивается от косяка и сбивчиво, нескладно говорит:

– Да старый он, Петь, стааарый! Ведь висит-то не для чего. Так просто висит. И не носит его никто. И не нужен никому. Да если б только висел – ведь пухнет с каждым днём. Да воняет – не приведи бог. Вся комната пропахла этим. Я и запаха такого не нюхала никогда. Ребёнок ведь, – её пухлое плечо дёргается в сторону старательно сопящего над карандашным рисунком брата, – нанюхается гадости этой. А вы, папа, – это ещё более осторожное и спокойное – на лысину деда, настороженно ушедшую в плечи, – умный человек-то, бывалый. Понимать должны... Ведь и по радио говорили... и выступали люди-то...

Сначала оживают хребты его острых плеч, поднимаются, медленно выжимая биллиардный шар головы.

Дед вырастает над нами – длинный и угловатый, как засушенный богомол, громко пробирается через два сдвинутых стула и молча ползёт в свою комнатёнку.

Я мысленно вижу его там – в этом трёхметровом кубе,

плотно заставленном старой рассохшейся мебелью: сняв тапочки, он влезает на шаткий стул, нерешительно распрямляется и, уклонившись головой от голубого плафона люстры, тянется на крышу старого шкафа – к небольшому буковому сундучку.

Дальнейшее мне настолько хорошо известно, что я уже не удивляюсь, когда тускло поблескивающее, свежееотлитое реальное без зазора и трения входит в ещё горячо дымящуюся, пустую форму воображаемого: колюче позвякивает потревоженная дедом пыльная гроздь медалей, вяло шуршит облигация замороженного займа, скрипит стул и нервно копошатся в ссохшихся внутренностях сундучка костяные пальцы. Дверь открывается через минуту.

Ожившим саксаулом он торжественно вползает к нам, локтями и коленями протыкает застоялый воздух комнаты: в цепких его руках лохматится замученной лимонницей старая газета.

С этого момента серый, сопливый бес вселившийся в меня скуки начинает лениво расти, пухнет, расправляет обвислые крылья; пёстрый стержень тугой тягомотины постепенно, словно быстрорастиущий бамбук, пронизывает мою душу; язык обкладывает кисленькая медная оскоми́на: это привкус провинциального музея, где над бесчисленными, тщательно застекленными черепками, гильзами и обрывками высохшей кожи угрюмо тускнеют в позолоченном каракуле массивных рам огромные классические пейзажи, на которых

плоская зелень листвы неотличима от коричневого, круто нависшего над бесцветной водой берега, или полупустого, плюшевого, подъеденного молью театра, где пыль, поднятая с сонных подмосток добротной рухнувшей героиней, призвана скрывать откровенную скуку, пробившуюся сквозь раскисший шоколад грима ревнивого мавра.

– ...И трижды не прав и преступен тот работник труда и обороны, который легко забывает, уклоняется в сторону так называемых, низкопоклонствует перед прогнившей, берёт пример с неприглядных, попадает под влияние тлетворных, сетует на мнимое отсутствие, тянется к якобы новым, разлагается внутри своего, не препятствует опасным и допускает постыдное. «По-настоящему ценить и множить... ценить и мно-жи-ть, – дед внушительно поднимает палец, – достояния Великого Перемола может только... толь-ко! настоящий, истинный, целеустремлённый, непримиримый, идеологически стойкий, преданный, политически подкованный, высоко несущий, вовремя откликнувшийся, постоянно повышающий, неуклонно претворяющий, смело борющийся и в ногу шагающий, в но-гу! ша! га! ю! щий!»

Я уже не сдерживаюсь и зеваааю, зеваааааю, заламывая судорожно окостеневающие руки, пытаюсь вцепиться ими в мои худые, готовые вот-вот прорвать кожу лопатки...

Мать нехотя дослушивает деда и уходит стирать.

Брат заканчивает портрет однокрылого самолёта, тяжело повисшего над хаотичным зелёным городом.

Отец помогает деду сложить газету, подкатывается к ватнику и, заботливо щурясь, поправляет подвернувшийся край полы...

– Все стынет!

Это наш домашний гонг.

Молчаливо, один за одним мы ползём на кухню.

Отодвигая крохотный кухонный стол от стены, я смотрю на кастрюлю с тягуче булькающей, клейкообразной овсянкой.

Через минуту она расплзается в наших тарелках.

Наша кухня настолько мала, что, склонившись над своими тарелками, мы слегка соприкасаемся головами.

Братишка сразу черпает горячее месиво, суёт в рот и, запрокинувшись, трясёт головой, мычит и неистово вращает глазами. Дед зло косится на него, я чувствую, как напряжённо холодеет его голая, крепко упёршаяся мне в лоб голова. Отец щекотит мне висок своими мягкими усами, осторожно покашливает и, склонившись ниже, пускает свою алюминиевую ложку вокруг дымящей бледно-коричневой лепёшки...

Анализируя свою память, мучительно просматривая её пыльные слайды, я каждый раз пытаюсь с максимальной точностью найти тот, на котором впервые отпечаталась эта бесформенная, тёмно-бурая груда, и каждый раз прозрачные услужливые руки достают – неясный, хорошо знакомый, с поспешными рисками ногтевых отметок на его глянцеватой

поверхности: мне пять лет, я криклив и непоседлив, с любопытством щупаю мягкую бурую гниль, впитываю в себя незнакомую смрадную вонь. Отец – подвижный, круглый и молодой – осторожно придерживает меня за помочи, сощурившись, смотрит вверх на деда – длинного, сухого, торжественного – без табуретки вбивающего гвоздь в угол.

Помню огромный, тесно уставленный стол с неясными размытыми границами, окантованный чинно молчащими чёрно-белыми гостями; распадается приглушённый говорок, гаснут короткие покашливания; мать полной, дрожащей рукой опускает пчелиную головку патефона на воронёный диск тронувшейся пластинки – я впервые сознательно слушаю гимн... А потом – дед в зелёном кителе, поднимающий под потолок крохотную рюмку, говорящий что-то большое и хорошее, страшно чужой и незнакомый, отец – бодрый, круглый, с улыбочкой прокатывающийся по головам молчаливо жующих («Вам салатику? И вам? И вам? А вам?»), бабушка – тихая и белая, плотно сжатая двумя увешанными медалями толстяками...

Неприятно и непонятно – откуда в овсянке чёрные зёрна? Она и без того горька, пахнет непросохшей мешковиной, а необмолоченного овса в ней так много, что, сложенный мной по краю тарелки, он едва не слипается в зеленоватый круг.

– Спасибо. – Дед всегда встаёт из-за стола первым. Бра-тишка, лениво жуя туго набитым ртом (настолько туго, что

им нельзя даже чавкать), пытается схватить жёлтые дедовы пальцы – тот раздражённо выдёргивает руку и, поспешно перешагнув через меня, размашисто шаркает по коридору...

Точно так же размашисто, но с большей примесью желчи в презрительно поджатых лопатках, прошаркал он семь лет назад в свою комнатёнку и непоправимо громко хлопнул дверь: над верхним косяком протянулась тонкая извилистая трещина. Но тогда мы не смотрели ни на неё, ни на деда – наш похожий на слесарский чемодан приёмник торжественно стоял на столе, ручке громкости несколько раз пытались свернуть шею: в мембране бился, рокотал, звенел сталью сочный, хорошо поставленный голос. Я не помню, о чём он вещал миру в то пасмурное мартовское утро – кажется, о закладке нового цементного завода, но в громоподобных перепадах его суровой гармонии, в чеканной поступи фраз и в знойном придыхании был такой ошеломляющий привкус свободы, что наш серый потолок побелел, старые линиялые обои чётче проступили на стенах, а комната раздвинулась. Мать сидела за столом, грузно согнувшись, спрятав лицо в свои белые руки: большое тело её беззвучно тряслось, – тряслись плечи, грудь, жидкие, рано поседевшие кудряшки волос и большие дешёвые клипсы в крохотных, похожих на половинку проросшего боба ушах. Испуганный бледный отец сидел рядом, тяжело дышал, часто промакивая платком растопившийся сальник кургузого затылка:

– Сынок, достань бумажку с ручкой... запишем... до-

стань, милый...

Я шумно вырвался из-за стола, бросился к полке и замер с комком спёртого воздуха в горле: ватник был вдвое меньше.

Я осторожно подошёл ближе, пристально вглядываясь, и волна холодного огня прошла по корням моих волос, зябко сползла по спине: грязная, тёмно-бурая плоть ватника вяло шевелилась, в ней шло какое-то сумрачно-сосредоточенное движение – прорехи затягивались, скрывая прель, разорванные швы срастались, выравнивались, гнилая вата съеживалась, засаленные места теряли свой грязный блеск, ватник светлел и сжимался. Когда стальной докладчик выкрикнул последнее слово и битком набитый приёмник восторженно затрещал – ватник висел на гвозде – аккуратный, тёмно-серый, размером с детскую курточку – кургузые рукавички свободно вытянулись вдоль стёганных бортиков.

После выступления мать окончательно решила выбросить его. Угрожающе поднявшись над столом, словно грозовая туча, она всплескивала полными руками, трясла головой и требовательно клевала белым пальцем жестяную крышку приёмника, который после короткой паузы разразился браваурной музыкой. Отец перекатывался по комнате, мягко огибая углы, что-то бормотал себе под нос, боязливо скрёб свои оплывшие щёки.

Здесь-то и распахнулась дедова дверь – он вышел как обычно – решительно и угловато. Старая газета вяло вспорхнула из его рук и распласталась на столе. Дед схватил ра-

достно гремющий приёмник, тяжело размахнулся и швырнул в угол, под скорчившийся ватник; раздался колючий треск, марш хрипло рассыпался...

Он читал нам газету до полуночи.

В полночь его сухой, словно старая церковная свеча, палец торжественно потянулся вверх, бескровные губы величественно выпустили последнее:

– ... а также бла-го-дар-ность в сердцах грядущих поколений. Да. По-ко-ле-ний!

Мать молча встала, вздохнула и пошла стирать.

Отец тоже встал – мягкий и спокойный, – улыбнулся, подплыл к ватнику, поправил оттопырившийся рукав. Постоял. Потом нагнулся и стал собирать осколки приёмника...

По цвету утреннего чая я всегда определяю состояние бюджета нашей семьи на текущую неделю: если цвет коньячный – мы живём «хорошо», если густо-лимонный – «нормально», если же он похож на цвет водки, повторно налитой в графин с бледными, давно отдавшими желтизну апельсиновыми корками, – «ничего».

Сегодня он чуть желтее этой водки.

Рассматривая сквозь опрокинутый, быстро пустеющий стакан искривлённое стеклом лицо матери, сосредоточенно вытирающей хлебом наши тарелки, подвожу под завтраком бледно-синюю черту, старательно выписываю каллиграфическое «ничего».

Вытряхнув в рот желтоватый остаток со стойкой разбухших чайнок (как горады они прилипать к стеклу!), ставлю стакан на стол, встаю и, пробурчав безответное «спасибо», справедливости ради добавляю к непросохшему ещё «ничего» худенький плюс.

«Ничего» с плюсом...

Всякий раз, когда я сажусь за свой крохотный рабочий стол, что так уютно примостился под нависающей книжной полкой, ноздрей касается угрюмый смрад и глаза, оторвавшись от пачек бумажных заготовок (я клею из них конверты), тянут тщетно сопротивляющуюся голову вправо.

Я борюсь – впиваясь ногтями в подушечки пальцев, завивая ноги тугой, ноющей верёвкой, сжимая зубами кончик языка, но через минуту не подвластная мне шея с хрустом поворачивается: глаза влипают в бурое скопище гнилой ваты и мохнатых нитей.

Анализируя его запах (если это можно назвать запахом, я каждый раз мучительно ищу аналогов в бесконечном мире земных запахов и безнадёжно не нахожу их: Бог не смог сотворить ничего подобного.

По сравнению с этой угарной вонью запах разложившегося мяса или тухлых яиц представляется мне глотком чистого воздуха.

Испускаемому ватником смраду невозможно дать однозначного определения – он сложен и многосоставен, слов-

но зловеще горящая мозаика. Единственное, что хоть как-то помогает отвести ему место в сознании и спокойно, без сердечной колотьбы, осмыслить — этой примитивный синтез. Чтобы получить сей убийственный конгломерат, я взял бы горечь застарелой, полусождённой помойки, сладковатую вонь кишасей червями лошади, сопревшее в старых сундуках трепьё, свиной помёт, мокнущую под дождём рухлядь, разрытую могилу, гниющую под солнцем требуху.

Мне кажется — в целом ватник пахнет именно так...

Почему — кажется? Да потому, что со слов родных понимаю — как и цвет, запах этого страшилища все смертные воспринимают по-разному: мать говорит, что от него разит тухлой козлятиной, отец — «немножечко прелыми досками и такой киийиисленькой гнильцой, гнильцой с горчинкой...», братишка просто зажимает носик, отшатывается и кричит, что это — бяка, бяка, бяка!

Для деда ватник не пахнет ничем — может, слегка домашней пылью и старыми книгами (старыми не в плохом смысле, пустоголовый!) — но не более.

Его запах так же легко изменчив, как и он сам, — когда семь лет назад ватник впервые сжался — от него потянуло какой-то скучной пресной гнилью — так пахнут ножки канцелярских столов в сырых подвалах. Во время каждого стального выступления я осторожно наблюдал за ватником, замечая, как странно реагирует его съёжившаяся плоть на усилия металлического оратора: она бугрилась, играла радуж-

ными пятнами тления, шевелилась, корчилась, словно под её нечистой кожей копошились мириады червей, — а когда в сталь осторожно добавляли свинец и олово — местами рвалась, снова расползаясь, выпуская клочья осмелевшей, начинавшей буреть ваты.

Приёмник — новый, купленный матерью на её сбережения, стоял у нас на столе постоянно включённым. Дед угрюмо отсиживался в своей комнате, вылезая только после каждого выступления — читать вслух газету. Мать слушала ораторов в ванной — тяжело склонившись над стиркой; каждая, особенно булатная, фраза распрямляла её, она поднимала голову, поводила плечами и, смахнув с лица клочья пены, пристально разглядывая кого-то сквозь грязную стену, многообещающе трясла головой и, нашептавшись, умело и зло отжимала застиранную наволочку. Отец постоянно сидел в углу, на своём низеньком колченогом стульчике, бледнел, потел, круглел и наглухо закрывался газетами, по желтизне и обветшалости которых можно было судить о его отношении к металлическим голосам.

Впрочем, вскоре доля чистой булатной стали в них стала катастрофически падать, свинец и олово отвоевали четверть, потом половину, к ним прибавилась рыхлая сурьма и скрипучая сера, докладчики стали запинаться, оговариваться, ссылаясь на постоянные «происки врагов» и «сложность международной обстановки», голоса их ослабли, потускнели, слова путались, цеплялись друг за дружку, угрожая раз-

валиться на звенья вялых букв или слепиться в косноязычную мешанину. Всё чаще ораторы чихали, кашляли, тускло звякали пустыми стаканами, хрипели, шепелявили и всё дальше и безвозвратнее отдалялись от микрофона – словно кто-то массивный и сумрачно-молчаливый медленно оттаскивал их своей железной рукой. Каждое выступление заканчивалось словами: «Но всё равно, несмотря ни на что!», после чего невидимый зал по-прежнему взрывался овацией.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.